

Леонид Леонидов

Мемуары

ШАЛЯПИН слегка разубависто и не очень вдумчиво всю жизнь мечтал о революции и вдохновенно пел «Дубинушку». Но вот дубинушка пришла, размахнулась и перебила хребет всему, чему поклонялся и что ценил Шалыпин.

А поклонялся он, что греха таить, все-таки золотому телу.

С презрением пел:

— «Люди гибнут за металл».

Но денежку любил.

Или, как Варлаам:

— «Христиане скупы стали: деньги прячут, деньги любят».

Мало Богу дают...

И деньгу прятал, и деньгу любил,

и накопил капитал весьма завидный,

и вот пришла эта самая революция и все отняла, до последней денежки, до последней копейки, а в утешение подарила ему роскошную шубу, снятую с какого-то московского широкого купеческого плеча. Ибо все же соображали новые правители, что Шалыпину не следует простуживаться. Власть берегла его. Власть и подарила шубу.

В этой шубе нараспашку Шалыпин позировал художнику Кустодиеву для его знаменитого портрета.

Был он мелко расчётлив, дрожал над копейкой, никогда ничего не давал никому.

— А кто мне давал? — всегда отвечал он этой корявой, чисто мешанской фразой:

— «А кто мне давал?»

Своим бывшим товарищам, которые часто на российских сценах делили с ним упительные успехи, почти ничего не давал, никому не помог («а кто мне помогал?») и не любил, когда эти бывшие друзья его беспокоили.

— «А кто мне давал?»

Дети боялись его панически. Это чувствовалось.

Сезон наш в Берлине в 1927 году в анналах Берлинской оперы значится историческим.

Голос его звучал еще по-русски, пластинки были еще свежи, и иллюзия прежнего величавого Шалыпина сохранилась вполне.

Но для немногих, посвященных и искусственных, уже вполне выяснилась драма раздвоения.

Та самая драма, которая могла бы быть описана Эдгаром По или Стівенсоном.

В России великий артист любил общество писателей и художников.

С ними он вел бесконечные дружеские беседы, обсуждал создаваемые им образы, прислушивался к их советам и мнению.

Здесь, за границей, все это его уже не интересовало. Он начал довольствоваться компанией прихлебателей, льстецов. При них он распоясывался вовсю, а однажды «разошелся» и в присутствии Рахманинова.

Рахманинов постучал средним пальцем по столу и глухо сказал:

— Федор...

Федор вздрогнул, что-то далекое, дорогое и забытое возникло на миг в душе, он съёжился, как Мефистофель перед крестом, и налет на виски.

И еще, по старой памяти, боялся он Горького.

... В 1934 году на летний отдых в Карлсбад приехал из Москвы В.И.Немирович-Данченко и привез ордер на возвращение в Россию, подписанные знаменитым Енукидзе, тогдашним халифом на час.

По этим ордерам разрешался въезд в СССР Ф. Шалыпину, М.Чехову, Е.Лансеру, Е.Рошн-ной-Инсаровой и — полагаю, не без участия В.И.Немировича-Данченко — автору настоящих воспоминаний.

Вместе с этими ордерами Немирович привез и «устную буллу» Сталина специально для Шалыпина.

— Пусть приезжает. Дом дадим, дачу дадим, в десять раз лучше, чем у него были!..

Шалыпин мрачно выслушал и пробормотал:

— Мертвых с погоста не носят... И потом:

— Дом отдадите? Дачу отдадите? А душу? Душу можете отдать? Это было на каком-то обычном ужине в ресторане, в шумной компании, когда много выпили и на-

кажется, о Федоре Ивановиче Шалыпине уже все сказано, все написано, все известно. Но вот мы читаем ранее не публиковавшиеся у нас воспоминания о нем Леонид Леонидов — и облик певца обретает для нас новые краски, становится более человечным, объемным, хотя и теряет некоторый хрестоматийный глянец.

Воспоминания эти представляют собой главу из книги русского антрепренера Леонидова, который в начале 20-х гг. нашего века остался за границей с частью гастролировавшей на Западе труппы Московского Художественного театра. Выходец из харьковской состоятельной купеческой семьи, Леонидов, хотя по настоянию отца и проучился три года в Технологическом институте, а затем поступил на юридический факультет Петербургского университета, не стал ни инженером, ни юристом. Он с детских лет влюбился в театр, и эта любовь не отпускала его всю жизнь. Сначала он участвовал в качестве актера в различных любительских спектаклях, а затем проявил недюжинные способности в качестве организатора гастрольных поездок театральных трупп и замечательных деятелей русской сцены. Об этом он и написал в книге «Рампа и жизнь. Воспоминания и встречи», которую выпустил в Париже в 1955 г. Лаконично, с любовью написанные им портреты Немировича-Данченко, Станиславского, Мамонта Дальского, Варламова, Шалыпина, многих других делают картину русского театра первой половины XX столетия более живой и близкой нам.

ПОСЛЕДНИЕ ГАСТРОЛИ

Драма раздвоения Федора Шалыпина

говорились, и навспоминались.

Шалыпин откинул голову на спинку дивана, на котором посередине, председательствуя, он сидел один.

Глаза его были закрыты, лицо утомлено и измучено, руки повисли, как плети.

Казалось, что он задремал. Но нет, не задремал.

Правая рука поднялась и сделала вдруг останавливающий жест.

Все стихло.

И, не открывая глаз, как бы разговаривая сам с собою, Шалыпин медленно и проникновенно начал читать:

«Свинья под дубом вековым

Наелась желудей до сыта,

до отвала;

Наевшись, выпалась под ним,

Потом, глаза програвши,

встала

И рылом подгрывать у дуба

корни стала.

— «Ведь это дереву вредит, —

Ей с дуба ворон говорит:

— Коль корни обнажишь, оно

засохнуть может».

— «Пусть сохнет, — говорит

свинья,

Ничуть меня то не тревожит;

В нем проку мало вижу я;

Хоть век его не будь, — ничуть

не пожалею:

Лишь были б желуды: ведь я от

них жирею».

— «Неблагодарная! — промол-

вил дуб ей тут:

Когда бы вверх могла поднять

ты рыло,

Тебе бы виднo было,

Что эти желуды на мне

растут».

— Понятно? — вдруг открыв

глаза, спросил полупьяный Шалыпин, — понятно или нет?

— Понятно! — хором ответили на все согласные собутельники.

— Ни черта непонятно! — ответил Шалыпин, — за это стихотворение (он так и сказал: стихотворение) всю современную русскую литературу отдам и моего друга Максима в придачу. Ну а теперь давайте платить по счету и по домам. Ай, да у меня, кажется, денег нет...

И он полез по карманам и вдруг из жилета вытащил какую-то бумажку.

— Нет, пятьдесят франков есть. Довольно с меня будет, ай нет?

— Довольно, довольно, Федор Иванович! — кисло закричали собутельники.

— Спойте «Дубинушку», Федор Иванович!..

— Что-о? «Дубинушку»? Пусть медведь поет.

И пошел, пошатываясь, к двери.

— Боже мой, как вы читаете, Федор Иванович! Какой из вас драматический актер вышел был...

— Драматический актер? — и Шалыпин круто обернулся, сжал руку в кулак и ушел.

...

Я подписал с Шалыпиным контракт на ряд европейских стран.

За каждый спектакль по три тысячи долларов. Начинаем с Варшавы.

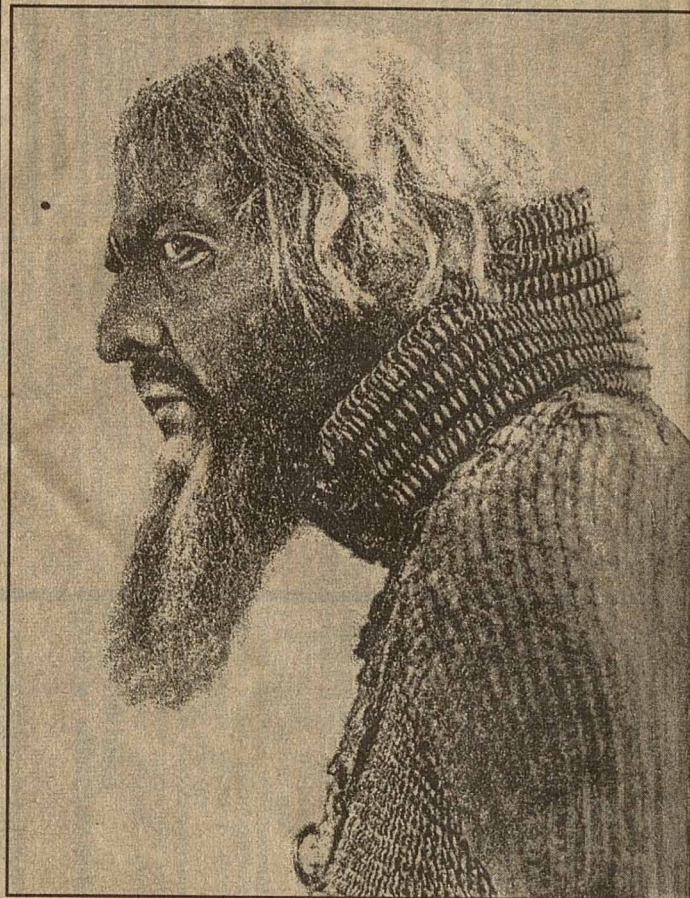
Шалыпин останавливается в «Бристоле». Я неподалеку, в «Европейской».

И сейчас же около Федора Ивановича, как бесы в октябре, закружились благоприяты.

Благоприяты первым долгом затащили его в «Фукетц», где были сосредоточены лучшие коньяки Варшавы.

И началась баталия.

Мне становится известно, что за



Шалыпин в партии Ивана Грозного в опере «Псковитянка».

три дня до концерта каждую ночь Шалыпин возвращался домой «мокрым»...

Что делать?

— Пересушит связки, иди потом доказывай!

За час до концерта являюсь к нему в «Бристоль» и застаю его во всем параде. Фрак на нем сидит восхитительно. Вид сияющий и как будто вполне благоприятный.

Садимся на извозчика и подкачиваем к театру.

У подъезда толпа неслыханная.

Пробрались за кулисы. Настроение у издерганного Федора Ивановича неожиданно изменилось. Раздражен. Печален. Взгляд потухший.

Оставил его одного в уборной и не успел дверь за собой закрыть, как слышу и ушам своим не верю: Шалыпин разговаривает сам с собой... И как разговаривает, и что говорит!

« — Боже, — слышу я, — Бог Авраама, Исаака и Иакова! Не оставь меня в эту трудную минуту. Пожалей не меня, но детей моих. Верни мне голос на один только час. Всего на один час. Ты сотворил небо и землю в один день. Не отвергни меня, как Бориса, от лица Твоего. Укрепи Твой дар драгоценный, прости меня и мои согрешения, вольные и невольные...»

Я, как ни в чем не бывало, постучался в дверь.

— Скоро начинать, Федор Иванович, — сказал я.

— Начинать-то начинать, да начиналки нет, — мрачно ответил Шалыпин, — придется, Леня, перенести концерт!

Меня в жар бросило.

— Никак нельзя, Федор Иванович, у нас нет свободных дней.

— Я не могу петь сегодня. Горло пересохло. Ни один звук не идет. Молился Богу, просил Бога — ничего. Не слышит. Не отвечает.

Но вот Шалыпин встрепенулся и

обычным своим завоевательским шагом пошел на сцену.

Боже мой! За целую жизнь я таких оваций никогда не слышал. Зал трещал. Громы небесные, казалось, падают на бедные человеческие головы. Минимум пять минут длилась восторженная встреча, буря рукоплесканий, такой сердечный прием, какого и в России Шалыпин, наверное, не находил.

Но вот посыпались глинкинские аккорды, и Шалыпин вступил: «Уймись волнения страсти...»

И меня снова обдало холодом.

Опять аплодисменты, но уже на пятьдесят градусов ниже:

— «Succes d'estime» («Успех средний»). — С.Н.)

Может быть, распоется?

Увы!

Одним словом, когда я перед вторым отделением посмотрел в зрительный зал, он был наполовину пуст.

Второе отделение — полный провал.

Шалыпин сказал:

— Ну идем на Голгофу. Помоги нести крест.

И я не нашелся, что ему ответить.

Я сидел перед шалыпинским гримировальным зеркалом, зажав голову руками, и не узнавал в зеркальном отражении ни его, ни себя самого.

На извозчике, после концерта, я довел постаревшего, сторбившегося Шалыпина до «Бристоля». Не знаю, спал ли он в эту ночь.

Наконец забрезжил день.

Потом принесли газеты... Долго я не хотел до них дотрагиваться. Но потом бросился, как в воду...

Боже мой, что в них писали! Как бы хотелось, чтобы это был сон.

Ну что же дальше?

Ах, куда ни шло и где наша ни пропадала!

И по какой-то непостижимой интуиции, я направился в государ-

ственный оперный театр, чтобы повидать директора.

Директор, пан С., немедленно меня принял.

«Хочет поиздеваться над москалями!» — пришла в голову невольная мысль.

— Ну что вы обо всем этом думаете? — спросил я.

— Во всяком случае, не то, что пишут эти болваны, — ответил искренне пан С., показывая на газеты.

— Певец был болен, вот и все. И Мазини оставался без голоса, и Патти оставалась без голоса — и никакой драмы никто в этом не видел.

Слово за слово, и я предложил пану С. гастроль Шалыпина на осень. Пан и глазом не моргнул: с радостью согласился. И дал три тысячи долларов за спектакль...

И, когда я вышел от пана С., подо мной снова горела земля. Но на этот раз бенгальским огнем. Это был огромный антрепренерский успех, о котором я и мечтать не мог. Я был горд и счастлив.

Под вечер мы покинули Варшаву. Шалыпин был мрачен как туча. Пошли обедать в вагон-ресторан.

И вдруг Шалыпин спросил:

— Нет ли у вас такого чувства, точно мы куда-то забрались, обокрали и теперь незаметно едем восвояси с награбленным добром?

— Нет, — ответил я, — битва еще не кончена. Мы проиграли первый наскок.

— Нет, битва кончена, — сказал Шалыпин, — мы капитулировали.

— А что бы вы думали об осенних гастролях в Варшаве?

— Дорогой мой, я двадцать лет не был в Варшаве, а теперь забуду, что такой город даже на свете существует. Воображаю, что они там писали в газетах...

Шалыпин никогда не читал рецензий.

— Одним словом, я официально предлагаю вам две гастроли в варшавском правительственном театре: «Борис» и «Фауст».

— Вы шутите?

— Федор Иванович, я далек от всяких шуток.

На глазах Шалыпина показались слезы.

— По 2500 долларов за гастроль. Я хотел заработать на этом деле тысячу долларов.

— Что-о? 2500 долларов? Вы с ума сошли!

И шалыпинские слезы мгновенно высохли.

— Моя плата — три тысячи, и вам пора бы это знать.

— Делать нечего, так и протелеграфирую, — ответил я и со станции Ахен послал телеграмму директору С., что его условия приняты.

...

Осенью гастроли состоялись, и та самая толпа, которая весной зашла артиста, теперь носила его на руках.

И те самые газеты, которые его поносили, теперь признали, что Шалыпин — единственный и престола его — твердыня священная.

Явные убытки — арифметика души не имеет — я претерпел с легким сердцем, ибо для меня это было вопросом престижа.

И, может быть, мне поверят, борьба за спасение блистательной российской славы.

Шалыпин все это понял и на Пасху прислал мне великолепную палку с массивным золотым набалдашником, на котором автографически были вырезаны запоздалые, но нежнейшие его по моему адресу признания.

Я свято храню этот подарок-память. Подарок музейного значения, и для меня он дороже списанных со счета варшавских долларов.

... Недели за две до безвременной кончины Федора Ивановича мы с женой пришли провести его. Он оживился и сказал:

— Помните? А то помните? «Бойцы вспоминают минувшие дни и битвы, где вместе рубились они...» Ну давайте выпьем рому, что ли.

— Эх, — сказал он, — еще бы годочков пять-шесть... Да не выйдет коммерция...

Я посмотрел на его прекрасные руки и понял, что они уже мертвые.

Я старался быть бодрым, говорил об осенних поездках, и он печально сказал:

— Нет, дорогой мой, на этот раз вы не захотите поехать со мной...

Публикация Станислава НИКОНЕНКО